

Содержание

ЗАВЯЗЬ ПЕРВАЯ	5
ЗАВЯЗЬ ВТОРАЯ	33
ЗАВЯЗЬ ТРЕТЬЯ	87
ЗАВЯЗЬ ЧЕТВЕРТАЯ	124
ЗАВЯЗЬ ПЯТАЯ	160
ЗАВЯЗЬ ШЕСТАЯ	200
ЗАВЯЗЬ СЕДЬМАЯ	230
ЗАВЯЗЬ ВОСЬМАЯ	280
ЗАВЯЗЬ ДЕВЯТАЯ	321
ЗАВЯЗЬ ДЕСЯТАЯ	355
ЗАВЯЗЬ ОДИННАДЦАТАЯ	384
ЗАВЯЗЬ ДВЕНАДЦАТАЯ	412
ЗАВЯЗЬ ТРИНАДЦАТАЯ	445
ЗАВЯЗЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ	477
ЗАВЯЗЬ ПЯТНАДЦАТАЯ	504
АПОЛОГ	513

ЗАВЯЗЬ ПЕРВАЯ

I

Много повидал на своем веку старый тополь!..

Его вильчатая вершина видна издали над домом Боровиковых, хотя дом — крестовый, рубленный в поморскую лапу из толстуших бревен, на фундаменте из лиственниц в обхват, более ста лет дубленными солнцем, — стоял на горе, а тополь тянулся снизу, из мрака и сырости поймы Малтата.

Давно еще грозовой удар расщепил макушку тополя; но дерево не погибло, справилось с недугом, выкинув вверх вместо одного два ствола.

Разлапистые сучья, как старческие крючковатые пальцы, протянулись до конька тесовой крыши, будто собирались схватить дом в охапку. Летом на сучьях густо вились веревчатые побеги хмеля. Тополь был величественным и огромным, прозванный старообрядцами Святым деревом. С давних пор под ним радели крепчайшие раскольники тополевого толка, выходцы из Поморья, крестились двумя перстами, предавая анафеме всех царей, а заодно с ними православных никониан за их еретичное троеперстие-кукиш. Невесты топольников вязали себе нарядные венки из гибких веток тополя, потом принимали крещение в студеных водах Малтата и Амыла, очищаясь от мирской скверны.

На всякую всячину насмотрелся тополь за длинный век свой: на радостных невест и на битых баб, на скорбных вдов и на сторожких, прячущихся под его ночной чернью неумных жен, лобызающих немужние сладостные уста.

Гнули его ветры, нещадно секло градом, корежили зимние вьюги, покрывая коркою льда хрупкие побеги молодежи на заматерелых сучьях. И тогда он, весь седой от инея, постукивая ветками, как костями, стоял притихший, насквозь прохватыва-

емый лютым хиузом. И редко кто из людей задерживал на нем взгляд, будто его и на земле не было. Разве только вороны, перелетая из деревни в пойму, отдыхали на его двуглавой вершине, чернея комьями.

Но когда приходила весна и старик, оживая, распускал коричневые соки клейких почек, первым встречая южную теплинку, и корни его, проникшие в глубь земли, несли в мощный ствол живительные соки, — он как-то сразу весь наряжался в пахучую зелень. И — шумел, шумел! Тихо, умиротворенно, таким старческим мудрым гудом. Тогда его видели все, и он нужен был всем: и мужикам, что в знойные дни сиживали под его тенью, перетирая в мозолистых ладонях трудное жите-бытие, и случайным путникам, и ребятишкам. Всех он встречал прохладой и ласковым трепетом листвы. К нему летели пчелы, набирая на лапки тягучую смолку, чтобы потом залатать прорехи в своих ульях, мохнатые жирные шмели отсиживались в зной в его листве, болтливые сороки устраивали на нем свои немудрящие гнезда.

Сколько же ветров и бурь пронеслось с той поры, когда первый хозяин еще недостроенного дома — Ларивон Филаретыч Боровиков с внуками и сыновьями затравил собаками беглого варнака, и, как потом узнали, родного брата, Мокея Филаретыча, из чьей кровушки каторжанской возрос на диво всем могучий тополь!..

Шли годы и годы...

Менялись поколения, времена и нравы, а старый тополь все так же шумел под окнами дома Боровиковых.

Костляво-черный в зимнюю пору, белый от куржака в морозы, огромный и величественный в зеленой шубе, возвышался он над крестовой крышей дома, как загадочный свидетель минувших времен, чтобы потом, на Страшном суде, дать показания о всех бедах и преступлениях, совершенных людьми на его веку.

II

Нечто загадочное и тревожное мерещилось малому Демке в старом тополе. То Святое древо как-то странно посвистывало, будто созывало праведников на моление, то оно лопотало, лопотало ночи напролет, словно что-то рассказывало чернолесью на своем тополином языке, то в лютую стужу скребло по крыше голыми сучьями, ровно в тепло просилось, чтоб погреть задую-

бевшие старые кости, то исходило натужным гудом перед непогодьем; и, когда налетала буря с Амыла, тяжело стонало. И чудилось Демке, что Святой тополь отбивается от несметной силы нечистых, и боялся, как бы он, не выдержав битвы, не рухнул на крышу дома. «Как бабахнется, так всех придавит. И меня, и мамку с Фроськой». Тятку — рыжую бородищу — не жалел — пушай давит. Все едино Демке добра не ждать от тятки.

Со всем могла смириться Меланья: и со строгостью Филимона к малому Демке и к самой себе, и с тем, что жить стали в моленной, а вот нутро пересилить к квартирантке-ведьме, Евдокии Елизаровне, которая поселилась в горенке, никак не могла.

— Нишкни! — пригрозил Филимон. — Не твою ума дело, как и што свершается в круговращенье людском. На земле проживают люди разных верований, и ничаво — ладят. Али я не гоняю ямщину? Пушай хучь сатано подрядит, господи прости, моментом в ад доставлю. Токо бы на возвратную дорогу ворота открыли.

— Сгинем мы, Филимон, от этакого паскудства!

— Молчай, грю, ежли ум у те с коготь иль того меньше. Али не слышала: отторг я тополевую веру — белоцерковную, самую праведную, возвещать буду.

— Господи! В церковь к нечистым метнулся!

— Не в церковь, а старая вера есть такая под прозванием Белая Церковь, самая праведная. Согласно такое единоверцев, и двумя перстами хрестятся, как мы. А по белоцерковной вере, как вот у Харитины, — вдруг проговорился Филимон и тут же смолк, до того неожиданно вылетело словечко.

— У какой Харитины?

— У праведницы, следственно, — сопел в бороду Филя.

Меланья припомнила:

— Господи! Ты еще когда во сне Харитиньюшку нацеловывал да шанежкой называл. Знать, у Харитины скрывался все время, а мы тут слезами исходили, казни претерпели!

— Не болтай лишку, грю! — окрысился хозяин. — Али у самой хвост не припачкан? От кого выродок в доме моем хлеб жрет?

— Хлеб-то и мой, поди. Я ведь содержала дом и хозяйство, покель ты с Харитиней гдей-то проживал.

Филимон перед малой силой на руку. Бах — врезал по шее Меланье, чтоб язык прикусила.

Меланья после такого разговора с мужем совсем сникла. Мало того что Филимон метнулся в какую-то чужацкую веру, так еще и Харитиньюшку завел себе — где только, узнать бы! Одна надежда у Меланьи — Демка. Вот вырастет, подготовится в духовники тайно от Филимона, а там и сама Меланья со святым мученицам приобщится, как не поправшая святых заповедей Прокопия Веденеевича, с кем только и отведала малую толику бабьего счастьяца.

III

Осенней неисходной желчью налились листья старого тополя. Холодом тянуло с Татар-горы. Птицы сбивались в стаи. Откуда-то из неведомых углов, одна за другой, тянулись длиннущие журавлиные ленты и косяки гусей — летят, летят, и Демка провожает их долгим взглядом — самому бы взлететь за птицами на небо!..

В какой из дней осени Демка почал пятый год своей жизни, он, конечно, не ведал. Он любил играть под тополем с Манькой и светлоголовой Фроськой. Хоть на два года был младше Маньки, а в играх и забавах верховодил — «головастый выродок растет», — отмечал про себя Филимон Прокопьевич.

Под тополем устильно от опавших листьев. Манька выкопала ямку в отвесном яру и пекла из глины с песком пирожки без огня и дров; малая Фроська — по третьему годiku — собирала листья в кучу: горку строила. Демка наломал гибких прутьев тальника, натыкал их вокруг тополя — как будто это единовержцы — и позвал к себе Маньку и Фроську на моление.

Маньке понравилась новая забава. На колени стали, молятся, а Демка-духовник, спиной к тополю, осеняет единовержцев самодельным крестом из связанных прутьев, бормочет нечто про Суса Христа, про святых угодников, и Фроська, еще не умея креститься, машет ручонкой возле своего пухлого личика и вслед за Манькой и Демкой неловко отбивает поклоны. В два-то годика Демка как крестился! Сам Прокопий Веденеевич хвастался, а у Фроськи не получается — соображенья мало.

— Мань, что она язык выпехала! — кричит Демка. — Сусе Христе, спаси нас от наважденья, от нечистого, что не моли-тись! — бьет Демка самодельным крестом по гибким прутьям. — А ты, рыжий, из веры в веру прыгать! У, анчихрист! Мякинная утроба! Как вот поддам крестом! Спаси нас боже!

— Дем, а ты кто?

— Духовник.

— Ой, ой! — тарашится черными глазенками семилетняя Манька и быстро крестится. — Как был дедка, ага?

— Сусе Христе, помилуй нас! — дуется Демка. — Сейчас рыжего в геенну огненну пихну. Как поддам!

И Демка поддал одному из прутьев — в сторону отлетел, в геенну, значит.

— Дем, а кто рыжий?

— Не знаешь?

— Тятка, ага?

— Не тятка он! Сатано, сатано! Рыжий сатано! — орет Демка.

А сам «сатано», только что приехав с пашни и не застав Меланью с ребятенками дома, выглянул в окно моленной, распахнул створку и прослушал весь детский лепет новоявленного духовника, в холщовых штанишках на лямке, босоногого, и увидел, как этот духовник бил самодельным крестом анчихриста рыжего, прыгающего из веры в веру, да еще назвал мякинной утробой. Такого поношения Филимон стерпеть не мог. Ему и в голову не пришло, что мальчонка бормочет не свои слова, а мамкины.

«Осподи! Выродок-то куды метит! — тарашился Филимон, готовый выпрыгнуть из окна — до того вскипела ярость. — Ужо в силе я покель. Покажу ужо окаянному!»

Манька с Фроськой все еще стояли на коленях возле тополя, когда подбежал тятка и схватил Демку за ворот рубашонки. Демка остолбенел от испуга, округлил глазенки на рыжую бородищу.

— Кого в геенну, гришь? Каку рыжу бороду?

А тут еще Манька брякнула:

— Это он про тебя, тятя, сатано, грит, рыжий.

— Пшли домой, живо!

Манька подхватила Фроську и убежала. Таская за собой Демку за ворот, Филимон собрал в пучок наломанные таловые прутья; спустил штанишки с него и голову зажал промежду толстых ног в бахилищах.

— Сатано, гришь? В геенну огненну, гришь? Вот тебе, проклятуций, геенна! В духовники метишь, окаянный? Вот тебе духовник, духовник, духовник! Чтоб не встал, не сел! Не встал, не сел!..

Демка визжал, хватался ручонками за продегтяренные голенища бахил, а таловые прутья, которые он сам же наломал и натыкал в землю возле тополя, собранные рыжим чудищем в пучок, будто насквозь прошибали Демкину кожу — дух занялся. Демка звал мамку, но мамка была где-то на огороде, Демка захлебывался собственным криком, тело его дергалось, как у лягушки, и только старый тополь мирно пошумливал своей желтой шубой, роняя наземь широченные листья, и послеобеденное солнце все так же покойно цедило свои прохладные лучи сквозь толстые черные сучья.

Свистят прутья, кровь брызнула, а рука Филимона никак не может остановиться — злоба подхлестывает и разум затмился будто. Может, и не жить бы Демке на белом свете, если бы не раздался голос:

— Доколе, Господи! Доколе!

Филимон оглянулся — перед ним бабка Ефимия вся в черном с палкой в руке.

— Эко! — шумно перевел дух Филя, отбросив прутья.

Бабка Ефимия ткнула его палкой в грудь:

— Боровиков?! Ай-я-йй! Под деревом казни казнь вершишь над ребенком? Али мало роду вашему убийства каторжанина? Али мало вам молитв на тополь, под которым убиенный лежит? И будет проклят ваш род, ежели не образумитесь и на жизнь по-людски не взглянете!

— Что несешь-то, старая! — огрызнулся Филя; Демка валялся между его ног, как промежду двух столбов — только вместо перекладины холщовая мотня висела над кудрявой головенкой.

— Изверг! Изверг! Людей позову сейчас. Людей! — наступала бабка Ефимия, смахивающая на черную птицу. Филимон пятился. Бабка Ефимия склонилась над ребенком — по голым ноженькам кровь бежит, от спины до ног все тело иссечено вдоль и поперек. Лежал лицом в землю, не кричал. Тело его подергивалось.

— Убийство вижу! Убийство!

— Окстись, окстись! — Филимон и сам перепугался: не пришиб ли насмерть выроodka — беда будет!

— Смотри, смотри, Боровик-разбойник! На кровь смотри! Доколе сами себя изводить будете, Господи! Али крови возалкал? Людоедства возалкал? Али не из рода вашего изгой Филарет, яко змий терзавший сирых и бедных? Ларивона вижу! Ларивона!

Филимон топчется под тополем, бормочет нечто невнятное — из ума выжила старушонка! Но если бы он мог пораскинуть своим умом, то увидел бы, что бабка Ефимия — не просто престарелая старушонка, вся сжавшаяся в комочек, истоптавшая три бабьих века, — она, как и этот распахнувшийся вишьрь и ввысь тополь, была еще и живой свидетельницей времен и исчезнувших поколений людей.

Сохранив разум и память, пусть даже с провалами, она не в силах была уразуметь сути происходящего. В неведомом новом поколении видела нечто свое, одной ей доступное, а именно тех давнишних людей, кости которых истлели в земле; она их видела, помнила их дела и каждый раз, когда свершалось насилие, припоминала именно то, что было ей известно, возмущалась в меру сил и разума и строго судила живых, новых и неведомых, мерою того суда, какой свершился на ее памяти над исчезнувшими поколениями. Явственно видела в рыжебородом чудище Ларивона Филаретыча, убийцу родного брата, в могилу которого вбит был тополевым кол; видела тупых и до одури жестоких апостолов Филаретовых, душителей кудрявого Веденейки, — да уж не Веденейка ли кудрявый на ее старческих руках сейчас?

— Веденейку вижу! Веденейку, Богородица Пресвятая! Унесу сейчас. Унесу! Да пусть разверзнется земля под тобою, Ларивон, сын Филаретов!

— Чаво бормочешь-то, осподи прости!

— Не простит Господь, не простит! Убивства не прощаются! Земля, оскверненная кровью человеческой, кровью же и омывается!

Демка опамятовался — всхлипнул раз, другой; тело его конвульсивно передернулось. У Филимона отлегло от души — живой! «Экая у меня рука чижолая, Иисусе Христе!» А вот и Меланья бежит в подоткнутой юбке. Задержалась на миг, глядя на сына на руках старухи, кровь увидела на теле Демки и, коротко взвизгнув, как росوماха с дерева, кинулась на Филимона, вцепилась ему в бороду. Все это произошло так быстро, что Филимон не успел уклониться. Рвет, рвет бороду восставшая рабица господня.

— Окстись, окстись! — бормочет Филимон. — Опамятуйся! — А борода трещит, ажник слеза прошибла. Ударил Меланью в ухо — удержалась за бороду. На губах пена выступила, глаза дикие, распахнутые, лицо перекосилось. Филимон зажал

ей ладонью рот и нос и тут же отдернул руку — мякоть ладони прокусила. И все это молча, будто Меланья лишилась языка. Такою рабицу Филимон впервые видел и не в малой мере трухнул. Если умом рехнулась — беды не оберешься. Ребенка изувечил, скажут, и бабу из ума вышиб. — Осподи, осподи! Опомятуйся, грю!

А тут еще бабка Ефимия подкинула:

— А, разбойник! Каково? На всякого зверя — волчица сыщется.

Голос бабки Ефимии дошел до сознания Меланьи, и она вдруг обрела дар слова:

— Сатано ты, сатано треклятый! Ребенчишка мово в кровь избил, лихоимец!

Вырвав руки из лап Филимона, Меланья царапнула его по пунцовому лицу своими черноземными ногтями — кровцу добыла. Рубаху разорвала до пупа.

— Асмодей, асмодей! — кричит. — Топором зарублю! Грех на душу возьму — за-а-ару-у-ублюю-у!

— Экое! Экое! Ополоумела!

— Са-а-ата-а-ано-о-о!

Филимон оторвался-таки от взбешенной жены и прыгнул в сторону, за тополь, припустив по чернолесью — только сучья трещали под ногами. Меланья запричитала:

— Иисусе, за-ради каких мучений токо я на свет народилась! Али мыкаться мне до смертушки, аль бежать куды, господи!

Черные пытливые глаза бабки Ефимии глядели на Меланью с великим сожалением и земным спокойствием. Сколько она, Ефимия Аввакумовна, повидала за свою жизнь слез рабиц господних, немало выплакала своих, обретая понимание людей; на всякую всячину нагладелась, а все-таки одного не уяснила: с чего это люди изводят друг друга?

— Не реви, бойкая! — строго сказала бабка Ефимия. Демка жался к старушонке, перепуганный дракою матери с рыжим тятькой. — Ты чья будешь? Из Боровиковых? Или у Боровиковых?

— Про што вы?

— Из Боровиковых или у Боровиковых живешь?

— Дык у Боровиковых.

— Кажись, у тебя ребенка принимала?

— У меня.

— Да ведь я девчонку приняла, помню.

— Девчонку.
— И этот твой?
— Мой. Сиротинка несчастная.
— Разве не мужик тебе этот, рыжий?
— Мужик. Сатано треклятый.
— Как его звать-то, запомятовала. На Ларивона запохаживает.

— На какого Ларивона?
— Боровикова. Сына Филаретова.
— Не слыхала про Ларивона.
— Да тебе-то сколь годов? Звать-то как?
— Меланья. А годов мне за двадцать пятый три месяца прошло.

— Богородица Пресвятая, как мне было на Ишиме, когда пришел к нам человек светлый и разумный, в цепи закованный, Александра Михайлович! Время-то сколь минуло! Но не-то двадцатый год исходит нового века, а с кандальником свиделась в тридцатом старого века. Время-то, время!.. Стара я, стара! Доживу ли я до дня светлого, когда люди не будут терзать друг друга! Доколе же, скажи, совести каменной быть, а разуму гнатым?

Меланья не понимала, о чем толкует старуха в монашеском черном одеянии и отчего она так пристально уставилась на нее.

— Не ведаю, про што говоришь, бабушка.
— Кем взрастишь сына, скажи: мучителем иль спасителем? Если так вот будете терзать его, попомни мои слова, мучителя взростите. И будет он казнить правых и виноватых, как секли его до крови. Ишь как иссечен!

Меланья пожаловалась, что муж ее, Филимон Прокопьевич, невзлюбил ребенка и потому изводит его денно и нощно.

— Так и сбудется, — вздохнула бабка Ефимия. — Мучителя взростите.

— Духовником он будет. Клятва такая на нем.

Ефимия вздрогнула и посмотрела на Меланью взыскующе-строго:

— Каким духовником?

— Нашей веры, тополевой. Как от крещенья тополевец.

— Ведаешь ли ты, что глаголешь? Матери ли говорить такие слова? Духовник у старообрядцев, как и поп в церкви, чтоб блуд покрывать блудом, невежество — невежеством, дикость — дикостью и чтоб люди до скончания века утопали во мшарине

невежества! А ежели парнишка твой станет потом духовником, каким был Филарет?

— На святого Филарета молимся, как прародителя нашего.

— Нечисть то! Нечисть! Еретичество! — рассердилась бабка Ефимия, подымаясь от тополя, где она сидела.

Демка чего-то испугался, отполз от старухи, подобрал свои штанишки с болтающейся лямкой. Меланья кинулась к нему и подхватила на руки.

— Погоди! Погоди! Сказать тебе надо, женщина, — остановила ее бабка Ефимия. Имя Меланьи успела забыть — так резко рвались нитки в памяти. — Погоди! Ты вот сказала, чтоб он, сын твой, стал духовником, каким был Филарет. А ведаешь ли ты, мать сына своего, каким был Филарет-мучитель? Да ежели он взрастет Филаретом — много крови прольется! Много будет несчастных, как ты вот сейчас! Знаешь ли ты, какую казнь учинил над моим телом и духом Филарет-мучитель? Как удавили под иконами сына мово, Веденейку кудрявого, Филаретовы апостолы? И крик был, и вопль был. Вопила я, видит небо, да не внял моим воплям ни Иисус Христос, ни отец, ни дух святой, ни сам Филарет Наумыч. Скажи же...

Меланья не стала слушать: Демка плакал от боли — на руках сидеть не мог.

— Чой-то вы пристали ко мне, бабка? Самой тошно. Голову не знаю где приклонить, а вы говорите всякое. — И ушла.

— Нету прозрения, вижу! Тьма пеленает людей, — сказала вслед Меланье бабка Ефимия.

...Все это время, после того как дом Ефимии в прошлом году сожгли белые, а люди метались в схватках друг с другом — красные с белыми, белые с красными, бабка Ефимия, покинутая всеми, нашла себе пристанище в старообрядческом женском скиту в Бурундате, куда Меланья отвезла хворую сироту Апроську. Но и в Бурундате у монашек не прижилась мятежная старуха — попрапа старообрядческий устав, объявив его еретичным, и добиралась теперь до Минусинска в поисках своих дальних родственников. По пути в Минусинск заехала в Белую Елань, чтоб поклониться могиле Мокея Филаретыча — старому тополю, и тут застала зверство — избиение ребенка.

И подумалось Ефимии: не от того ли в мир приходит жестокость, что люди, терзая друг друга, сами не зная того, порожда-

ют изгоев, а не праведников? В любви рожденный, без любви взращенный — кем будет? Зверем.

Погостила бабка Ефимия у тополя, вороша свои древние мысли и столь же древние видения, и пошла по стороне Предивной в поисках приюта на ночь.

Боровиковых минула — чуждые люди...

IV

Была ночь. И была тьма.

Черная осенняя тьма за окнами под тополем. И черная тьма на душе Меланьи.

Рабица господня отстаивала всюнощную молитву перед иконами, чтоб настало прозрение. Молилась, молилась.

Мерцали у древних икон три свечечки.

Рядом с Меланьей лежал топор.

Филимон знал, зачем Меланья взяла топор и держала его под руками, а потому и удалился в горницу, где проживала квартирантка, Евдокия Елизаровна.

Квартирантка три дня как уехала в казачий Каратуз.

Филимон не знал, что в Каратузе, в Арбатах и в Таштыпе восстали казаки.

Уезд будоражился. Партизаны крестьянской армии Кравченко и Щетинкина ушли в Ачинск, у Красноярска белые, уловив момент, подняли казаков...

Филимону намылила шею гражданка. Глаза бы не глядели ни на что в этом круговращенье.

Меланья молилась, чтоб святые угодники надоумили, как ей спасти возлюбленное чадо — сына Демида, чтоб не быть клятвopеступницей перед убиенным Прокопием Веденеевичем.

Молитва на измор тела — тяжкая, а голоса видений тихие и внятные, из уст в ухо будто.

Меланье послышался голос Прокопия:

«И сказано, исполни волю мою: быть Деомиду духовником. Пущай ярится мякинная утроба, а ты будь твердой, каменной и обретешь силу. Вези к праведницам в Бурундат Демида, куда отправила в храмов праздник сироту Апроську, и попроси игуменью Пестимию, чтоб обучили чадо читать Писание, службы править и чтоб не опаскудился он среди нечистых, которых везде много. В обители будет ему спасение. Пущай не даст коро-ву Филимон для Апроськи, а ты отрой мой клад и возьми с со-

бой долю и отдай Пестимии — ребенчишка примут и благодать будет».

— Слышу, слышу! — воскликнула Меланья. Детишки не проснулись от ее голоса. Демка спал на животе и во сне постанывал — на спину не мог перевернуться. — Слава Христе, слава Христе!

Утром Филимон собрался и уехал на пашню с двумя поселенцами — молотьба подоспела.

— Оставляю Карьку, — сказал Меланье вскользь, глядя куда-то в сторону. — К обеду чтоб привезла молотильщикам снеда, да не забудь, накопай в огороде картошки. Молитвами хлебushка не омолотишь!

Меланья ничего не ответила. Но как только закрыла ворота за Филимоном, поглядела туда-сюда по ограде, взяла заступ и топор и пошла в баню.

Помолилась на закоптелую икону.

Убрала пустую кадку, вывернула топором три половицы и стала копать. Как говорил покойник свекр, Прокопий Веденеевич, — наискосок под угол бани. Заступ ткнулся в камни. Убрала камни руками. Под камнями, обложенные шерстью со всех сторон, два берестяных туеса.

Достала один — замшелый, отсыревший, с налипшей шерстью. В бане было сумрачно, и она вынесла туес в предбанник. Выглянула — нет ли кого на заднем дворе и в ограде? Никого. Крышка туеса не поддавалась — разбухла и будто впаялась в бересту. Выбила ее топором. Оказывается, гвоздями была прибита по кромкам туеса. Сверху слой слежавшейся шерсти — для чего, не понимала. Под шерстью холщовый положек, а под ним пачки, пачки, пачки николаевских денег в бумажных банковских перевязях, и все крупные бумажки, золотом когда-то обеспечивались. По виду пачек — деньги не были в обращении. Будто покойный Прокопий Веденеевич получил их из рук в руки от самого помазанника божьего, самодержца российского Николая Второго.

Меланья знала, что в этот двадцатый год Филимон платил налог еще николаевскими, а керенские и колчаковские и всякие губернские боны не принимали в Совете.

Под пачками николаевских — четыре золотых кольца, два толстых из червонного золота, обручальных, а два с камнями — из дорогих, должно. Два золотых крестика на тонких цепочках. На чьих шеях висели эти крестики — кто знает; Мела-

нья о том не подумала. Четыре золотых серьги с камнями — из чьих ушей, знать бы! Ах, какие сережки! Вот если бы тополевая вера не была столь строгой к женщине — можно было бы носить в ушах серьги, золотые кольца, как бы Меланья могла нарядиться! Вот диво-то — к чему тятенька накопил серьги и кольца, с какими хаживают никониановские срамницы! Должно, получил от каких-то богатящих пассажиров во время ямщины. Сколь ямщину-то гонял!.. И пачками николаевских платили, должно, и серьгами с кольцами, и крестиками — и кресты анчихристовой печати.

Серебряные рубли и полтинники — много, много, много. Выгребла из туеса, отложив к пачкам и золотым безделушкам. Под серебром —

золото

золото

золото

золото

золото!!!

И сразу, в тот же миг, сатано лягнул Меланью своим раздвоенным копытом — затряслась как в лихорадке. Торопится, торопится, оглядывается, а в пальцах, в трясущихся пальцах —

золото

золото

золото

золото!!!

Испугалась чего-то, накрыла сокровище жакеткой, выскочила из предбанника — никого, ни души! И бегом обратно, к сокровищу. Выгребла в кучу золото — много-много. А сколько? Считать не умела. Знала только дюжину — двенадцать. Вся превратившись в слух, поспешно раскладывала золотые на кучки по дюжине монет в каждой. Спешила, путаясь в счете, снова пересчитывала; двенадцать дюжин и еще семь золотых к ним. Серебро и бумажные не стала считать — ума-то сколько надо! Писарь, может, не сосчитает!..

БОГАТСТВО

БОГАТСТВО!..

Перевела дух, помолилась, сидя на корточках.

— Сусе! Сусе! Спаси мя! — бормотала себе под нос, поспешно складывая сокровища в туес в том порядке, как было уложено когда-то Прокопием Веденеевичем. Крышку закрыла и забила ее топором. Опомнилась — с чем же поедет в скит, в Бурундат

к монашкам! — Господи! Господи! Из ума вышибло. Из другого тuesa возьму ужо. Из другого. Богатство-то экое, господи!..

БОГАТСТВО

БОГАТСТВО!..

Отнесла тues на прежнее место, вытащила другой, а этот обложила заплесневелой шерстью и сверху камнями. Быстро. Быстро, как будто сатано подстегивал копытами. В момент закопала, половицы наладила, кадушку поставила и еще раз присмотрелась, не видно ли, что половицы подымались? Нет как будто. Вышла со вторым тuesом в предбанник. Так же выбила крышку топором. И тут сверху шерсть и холщовый положек. Серебряные деньги сверху — от пятиалтынного до рублей — и золотые часики на золотой браслетке. Точно такие же, как были у Дарьи Елизаровны. Сама тот раз на ладони держала. Золотые часики! Малюхонькие. К чему тятенька купил экие часики? Не понимала.

Выгребла серебро, а потом насыпала на шаль золото — золото — сияющее золото! Куски от солнца будто. Как же оно взбодраживает душу — будто силы прибавило Меланье.

— Господи, господи! Богатство-то какое! Ах, Демушка! Счастье твое, — бормотала себе под нос, и нечто неприятное мutilо душу. — Ужли все отдать сыну? Самой ни с чем остаться! Господи! Али я не заработала у тятеньки? — подумалось. — Али не со мной втайне жил и в рубище Евы пред образами ставил! Господи! Демид может и на ветер пустить экое богатство. Иисусе, спаси мя!..

Разложила кучки дюжинами. Четырнадцать дюжин золотых, а в каждом золотом — десять рублей. Сколько же это? «Ой, много, одначе! Четырнадцать дюжин! Кабы счет знать, господи!»

На поездку в Бурундат отложила шесть дюжин и золотые часики с браслеткой. Остальное все сложила обратно, как и в первый тues. Заколотила крышкой. Подумала: шесть дюжин! А в каждой дюжине двенадцать золотых, а в каждом золотом — десять рублей. Шевеля губами, пальцами, считала, считала и не сосчитала.

— Иисусе! Шесть-то дюжин много, одначе. За сто рублей золотом тятенька купил пару рысистых жеребят у Метелина. А сто рублей это — это скоко же золотых надо?

И опять считала. В одном десять да еще десять — двадцать. Десять рублей — десять по десять...

Испугалась: